

A close-up, red-tinted portrait of a man's face, looking slightly to the right. The image is the background for the book cover.

красная книга русской прозы

Григорий Бакланов

Навеки — девятнадцатилетние

повести

Григорий Бакланов

Июль 41 года

«ЭКСМО»

1964

Бакланов Г. Я.

Июль 41 года / Г. Я. Бакланов — «Эксмо», 1964

ISBN 978-5-699-48205-4

Г.Я.Бакланов - известный русский писатель, по сценариям которого были сняты популярные фильмы «Познавая белый свет», «Был месяц май». Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о войне, написанных автором, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. В повести «Июль 41 года» автор рассказал не только о событиях начала войны, но и сделал попытку интерпретировать их в историко-политическом аспекте, поднял тему ответственности Сталина за поражения Красной Армии.

ISBN 978-5-699-48205-4

© Бакланов Г. Я., 1964

© Эксмо, 1964

Содержание

ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	15
ГЛАВА III	20
ГЛАВА IV	25
ГЛАВА V	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Григорий Бакланов

Июль 41 года

ГЛАВА I

Пакет доставил офицер связи на рассвете. В пути он попал под бомбежку; пыльного, бледного от потери крови, его провели к командиру корпуса, но от дверей он пошел сам, твердо ступая, лоя подошвой качавшийся, уходивший из-под ног пол.

Командир корпуса генерал Щербатов, встав от стола, встретил его строгим взглядом. Он еще не знал, что в пакете, но вид человека, доставившего его, ничего хорошего не предвещал.

Докладывая наизусть, офицер связи в какой-то момент перестал слышать свой голос. Сквозь горячее, прихлынувшее к ушам, он слышал только усиливающиеся гулкие толчки своего сердца, а лицо и губы обморочно немели. И с единственной страшной мыслью: «Не упасть!» – он подал пакет в пустоту, туда, где только что стоял командир корпуса, а теперь, раздвинувшись, два человека плыли в стороны друг от друга, образуя посередине пустое пространство...

Ординарцы, курившие на пригретом, подсыхавшем на утреннем солнце крыльце, видели, как офицер связи шагнул через порог – белый из темноты сеней, бескровные губы сжаты, глаза глядят мимо. Остановился. И прежде чем его догадались подхватить, мутнеющие зрачки показались под лоб, и как стоял – успел только рукой схватиться за воздух – рухнул на спину, с костяным стуком ударившись затылком о доски пола.

А вскоре в рассветном тумане, сквозь который уже грело солнце, разлетелись по всем направлениям связные, нахлестывая коней.

В пакете, который доставил офицер связи, был приказ корпусу срочно наступать. Вырвавшийся недавно из окружения, потеряв там большую часть тяжелой артиллерии и боеприпасов, корпус состоял фактически из 116-й стрелковой дивизии. Но недавно в него влилась другая дивизия, только что прибывшая на фронт. Она выгружалась в разных местах и неодновременно, этой ночью удалось наконец ее собрать.

Корпус стоял в лесах, бои шли севернее. Там наступала немецкая группировка, с каждым часом продвигавшаяся все дальше. Вклинившись глубоко в оборону, преследуя отступающую армию, группировка эта одновременно создавала реальную угрозу корпусу. Но и он опасно нависал над ее правым флангом, и момент для удара был выбран удачный.

Приказом о наступлении командующий армией подчинял Щербатову еще одну дивизию, 98-ю стрелковую, которой командовал генерал Голощеков. Она должна была выгружаться где-то в радиусе семидесяти километров или уже находиться на марше, и приказывалось найти ее. Но Щербатов знал то, что, видимо, не знал еще командующий армией: дивизии этой не было. Она не дошла до фронта. Ее разбомбили в эшелонах, в пути. Единственный полк, успевший выгрузиться и двигавшийся на машинах днем, походной колонной, заметила немецкая авиация, слетелась отовсюду и уже не выпустила живым. На песчаной вязкой дороге Щербатов видел колонну грузовых машин, растянувшуюся на два километра. Они стояли среди бомбовых воронок, сторевающие, пробитые осколками. Но были и совершенно целые машины. В кузовах вповалку лежали бойцы. Как сидели они тесно, с винтовками между колен, так лежали сейчас, расстрелянные сверху из пулеметов. Молодые, крепкие ребята, во всем новом, с противогазами в холщовых сумках, со скатками через плечо, иные в касках на головах. Возможно, даже увидели самолеты и смотрели на них снизу: любопытно – немецкие, не видели еще ни разу. И далеко по обе стороны от колонны лежали в поле убитые: кто успел выскочить и бежал и за кем после гонялись самолеты.

Вот эту дивизию подчиняли сейчас Щербатову приказом о наступлении.

Постепенно стали прибывать командиры, вызванные на совет. Первым прибыл полковник Нестеренко, могучий, красный и седой, в выгоревшей гимнастерке, но в новых ремнях и сверкающем оружии.

Командир другой дивизии, входившей в корпус Щербатова, полковник Тройников, по годам почти что годился Нестеренко в сыновья. Он опоздал на совет. В одиночку разбойничавший над дорогой «мессершмитт» погнался в степи за его машиной. И если б не адъютант, сидевший сзади, Тройников, наверное, не заметил бы, как выскочил самолет из облачка.

Дважды зайдя издалека, «мессершмитт» пикировал на них, стремительно сближаясь со своей тенью. И все это вместе в сумасшедшем вихре несло по степи: крошечная машина, вздымающая хвост пыли до небес, огромная тень, простертыми крылами скачущая за ней вслед по рытвинам, и сверху с металлическим звоном косо скользящий к земле самолет, блестящий и маленький по сравнению со своей тенью. Машина резко кидалась вбок, тень перескакивала ее. Свист, треск пулеметов над головой, хлещущие по земле очереди. Самолет взмывал вдали, и только обезглавленный хвост пыли некоторое время сам двигался по дороге, словно сохранив стремительность погони.

Тройников мог бы скрыться в лесу, но там был штаб корпуса, он не хотел навести на него «мессершмитт». И снова все начиналось сначала: машина выбиралась на дорогу, а из-за края степи уже несся на нее самолет. Опять, сливаясь, дорога летела навстречу. Скорость была такая, что в какой-то момент Тройников физически почувствовал, как все остановилось, повисло в пространстве: и машина, и самолет в воздухе. Исчезли звуки, только ветер давил на уши. И в эту пустоту со свистом пушечного снаряда косо ворвался самолет. Он взмыл у самого горизонта.

В последний раз «мессершмитт» пошел в лоб. Солнце светило встречно, и тень его осталась за холмами. Она выскочила оттуда, когда пулеметные очереди уже мели по дороге, гоня навстречу машине пыль. Был мгновенный и острый холодок под сердцем, но голова осталась трезвой и руки прочно держали руль.

– Пригнись!..

Туда, навстречу хлещущим пулеметным очередям, толкнул Тройников машину и проскочил. Не сбавляя скорости, оглянулся. Он увидел затылок адъютанта, с которого ветер сдул волосы наперед. Адъютант смотрел вслед исчезавшему в небе самолету.

Пыльный, успев только руки помыть, вошел Тройников на совет. В нем еще дрожал неостывший азарт. Тем сдержанней, холодней был он внешне. Только в черных, горячих глазах посвечивало что-то.

Начальник штаба корпуса генерал-майор Сорокин, которому предстояло ознакомить командиров с задачей, покачал головой:

– Заставляете себя ждать, полковник!

Он волновался, как школьник перед экзаменом, и опоздание Тройникова в такой момент воспринял как личный выпад. И уже все в Тройникове показалось ему неприличным: и молодость его, и пышущее здоровье, и даже то, как он носил планшетку на длинном, до колена ремешке.

Покраснев сквозь загар, отчего лицо его только стало смуглей, Тройников сказал сдержанно:

– Прошу простить за опоздание.

И занял свое место. Сорокин поднялся, костистыми кулаками уперся в стол.

– У всех приготовлены карты?

И откашлялся.

Незадолго до войны, совершенно неожиданно для себя, Сорокин был произведен в генералы. Он и сейчас еще не понимал хорошенько, как это ему удалось взять рубеж, который

для многих остается предельным. Недаром же в армии говорят, что полковник – это тот, кто в мирное время сидит и ждет, пока его догонит лейтенант.

Он до сих пор испытывал возбуждающее удовольствие, нечто вроде радостного шока, когда ему приносили на подпись бумаги, и в левом нижнем углу, выведенное писарским каллиграфическим почерком, он видел: «Начальник штаба 3-го стрелкового корпуса генерал-майор», а в правом, взятое в прямые скобки, – «Сорокин». Нахмурился, с решительным блеском глаз, какой появлялся у него теперь при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный карандаш и снизу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою подпись. Этот акт был исполнен для него некоего торжества, а писарям казалось вначале, что он сердится, не любит подписывать бумаги.

Большую часть жизни своей Сорокин истратил на то, чтобы, повышаясь постепенно, небойко, проходя все стадии и ступени и даже задерживаясь на них, дорасти до начальника штаба полка. Он понимал, что карьера его лишена блеска, – ну что ж, зато она была основательна, и он находил удовольствие в том, чтобы ставить ее в пример молодым.

И вдруг, когда он уже был немолод и уже не был честолюбив, в какие-нибудь три года он из начальника штаба полка вырос до начальника штаба корпуса и генерал-майора.

Никто не верит в свою бесталанность. А если кто и поверит временно, так ничего нет легче, чем убедить человека в том, что сам он и умен (во всяком случае, не глупей других), и способностями бог не обделил его, да только обстоятельства против него сложились... Во что, во что, а уж в это каждый готов поверить без принуждения. Потому, быть может, что потребности пользоваться благами жизни и способности создавать их даны людям чаще всего в обратной пропорции.

Сорокин понимал, конечно, что между начальником штаба полка и начальником штаба корпуса – существенная разница. Но раз вышестоящее начальство, люди ответственные, видели его в этой должности – значит, они видели в нем те скрытые возможности, которых сам он не видел в себе до сих пор. И он увидел их. А увидев, поверил в себя. Эта вера отражалась теперь во взгляде его, в походке, в том, как он ставил ногу в своем новом генеральском, с твердым голенищем, бутылкой сшитом сапоге. И все-таки утрами, когда дух подавлен (утром только дети просыпаются румяные и свежие, и им сразу же хочется играть, а в его возрасте по утрам – дурной вкус во рту, мысли всякие, и с беспощадной резкостью видны все морщины), – утрами, когда он, не разогревшийся даже гимнастикой, а только уставший, брился перед зеркалом и видел свою седеющую грудь, оттягивал лишнюю кожу на шее, складки которой становилось все трудней выбривать, когда он смотрел на свои пальцы, плоские на концах и теперь большей частью холодные, – томило сомнение: поздно, ох поздно пришло это к нему... Годков бы хоть на пяток пораньше.

Война и сразу обрушившиеся тяжелые поражения смяли Сорокина. Это все было так непостижимо, непохоже на то, во что он верил и что знал. И главное, он не чувствовал в себе сил изменить что-либо. В горькие часы ночного раздумья за одно только упрекал он свою судьбу, что дожил, своими глазами увидел все это.

Сегодняшнее утро было утром его торжества. Он разрабатывал план наступления. С чисто выбритыми, покрасневшими, вздрагивающими щеками, ежеминутно откашливаясь, потому что садился и глох голос, он ставил задачи командирам дивизий.

В просторной горнице лесника с низкими окнами в толстых бревенчатых стенах, со свежим сосновым потолком и выскобленным полом командиры тесно стояли над оперативной картой, расстеленной на двух столах. Сквозь двойные невыставленные рамы и герани на подоконниках ломилось утреннее солнце, жгло спины и шеи. Над склоненными головами, среди которых уже посвечивали загаром лысеющие затылки, плыли, колышась, пласты табачного дыма, попадая то в солнце, то в тень. Худая с синими венами рука Сорокина вела указкой по

карте, прочерчивая оперативную мысль. И в строгой тишине раздавался только его глуховатый голос.

Командир корпуса генерал Щербатов со стертым до серебра времен гражданской войны орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, каких теперь уже осталось немного, как и людей, некогда их получавших, сидел, нагнув широколобую голову, молчаливым своим властно подтверждающим каждое слово Сорокина.

Комиссар корпуса, полковой комиссар Бровальский не мог усидеть на месте. Отойдя в тень, ягодицами опершись о прижатые к стене руки, он переводил глаза с одного лица на другое, и во взгляде его светился наивный восторг. Он чувствовал себя как человек, приготовивший подарок, о котором люди еще не знают, и заранее предвкушал удовольствие того момента, когда подарок будет вскрыт и показан всем.

Тихо на краешке стола курил начальник особого отдела Шалаев. Он носил в петлицах две шпалы – скромное звание «батальонный комиссар». Но, возможно, по другой линии было у него и другое звание. Он смотрел не на карту. Зорко прищуренными, не улыбочивыми глазами вел он по лицам. И курил. Синеватый дымок его папиросы истаивал в солнечном луче.

На равнине, прикрыв левый фланг лесом и ничем не прикрывшись справа, корпус должен был перейти в наступление и прорвать оборону противника. Но авиации не было, рассчитывать на поддержку с воздуха корпус не мог. У него был открыт не только правый фланг, но и небо над головой. Чтобы как-то выровнять положение, уменьшить основное преимущество немцев, Щербатов решил начать атаку не на рассвете, когда впереди оставался весь световой день и авиация немцев могла хозяйничать над полем безнаказанно, а начать ее за два часа до захода солнца.

Это было смело и непривычно. Ночью бой распадается на множество одиночных боев, управлять людьми на расстоянии становится почти невозможно, и Тройников понимал, что труднее всего будет его необстрелянной дивизии. Но он слушал с захватывающим интересом. Его только отвлекала дрожь ноги Бровальского, которую он все время ощущал рядом с собой.

С того момента, как было произнесено вслух то, что составляло изюминку плана – начать атаку за два часа до захода солнца, – Бровальский уже неотступно стоял позади Сорокина, смотрел через его плечо, с трудом унимая нервную дрожь ноги. Сам он практически в разработке плана не участвовал, но он присутствовал на всех стадиях составления его. И его радость, радость политработника, была, как всегда, не за себя, не за свои личные успехи, а за успех людей, с которыми он работал, за чьей спиной незримо стоял. И результатом его работы всегда были не сами дела, а люди, совершавшие эти дела. Он же оставался в тени, согретый сознанием, что нужен людям.

Сейчас со все возрастающим нетерпением, которое ему становилось трудно сдерживать, он ждал, когда будет произнесено то, что составляло вторую особенность плана. И когда это было произнесено, он незаметно отошел в тень к стене. За все время им лично не было сказано ни одного слова, но он выложил свой душевный заряд, и теперь от стены влюбленными глазами смотрел на людей, которые этот заряд получили. Быть может, они даже не подозревали этого, но он радовался за них.

Второй особенностью плана было решение Щербатова начать атаку внезапно, без арт-подготовки. Корпус не мог надеяться на то, что боеприпасы ему подвезут. Приходилось рассчитывать на себя, надо было беречь снаряды, чтобы контратакующие немецкие танки встретить огнем.

Тройников посмотрел на командира корпуса. Тот сидел все так же, положив перед собой на стол руки, сцепленные пальцы в пальцы, – руки, в которых он сейчас держал судьбу всей операции. Лицо было неподвижно, веки опущены. За все время, пока говорил начальник штаба, он ни разу не поднял их. И вдруг нечто похожее на зависть к нему шевельнулось у Тройникова. Зависть к широте, к масштабам и возможностям, сосредоточенным в его руках. Что это:

частная отвлекающая операция или начало большего? А если начало, тогда сейчас уже должна прорисовываться главная цель.

Щербатов поднял голову, странным взглядом обвел всех присутствующих, посмотрел на часы:

– Прошу высказывать соображения.

И опять прикрыл глаза веками, приготовившись слушать. В лице его отчетливо проступило нетерпеливое выражение. Все планы, все наилучшим образом выбранные средства имеют тот постоянный недостаток, что в ходе операции они могут оказаться просто негодными. Две вещи никогда до конца не предугадаешь: меняющуюся обстановку и волю противника. Его могло бы разубедить в его опасениях только одно: еще одна полнокровная дивизия, которую в решающий момент он бросил бы на весы боя. Этой дивизии никто из присутствующих здесь командиров дать ему не мог. Она погибла, не дойдя до фронта. Все остальное Щербатову было безынтересно. Он давно уже переступил ту грань человеческого самолюбия, когда чрезвычайно важно знать мнение окружающих о себе, когда человек, похваливший тебя, начинает вдруг безотчетно нравиться, становится интересным, близким, чуть ли не другом тебе, с ним хочется еще и еще говорить. Это честолюбие перегорело в нем, оставив в душе горстку пепла. За все время совета ни один уголек не затлелся в ней, хотя были в плане моменты, которые в общем могли бы доставить ему удовлетворение. Он сидел, прикрыв глаза, чтобы не рассеиваться, прислушиваясь единственно к своему внутреннему чувству. Щербатов хотел выверить план на людях. Он по опыту знал: то, что наедине с собой иногда кажется особенно удачным, на людях вдруг вызывает резкое чувство стыда. Он сидел и слушал, опустив глаза. Он ни разу не испытал стыда. Но и радости он тоже не испытал.

– Кто еще? – спросил Щербатов, когда Нестеренко, кончив, сел.

– Разрешите, – сказал Тройников.

Он встал, но в этот момент Бровальский подошел к командиру корпуса, что-то тихо сказал ему, показывая на часы, и, прощально улыбнувшись всем, как бы прося не отвлекаться, вышел – отлично сложенный, мускулистый, с выправкой строевика. В этот час у него уже собрались отдельно политработники, и он шел не только ознакомить их с задачей корпуса, но и вселить в них радостную уверенность. Чтоб эту радостную уверенность комиссары, парторги и комсорги понесли в батальоны, в роты, донесли до сердца каждого бойца переднего края.

Тройников спокойно ждал. Он единственный из всех присутствующих еще не воевал и понимал, какой отпечаток кладет это на все его предложения. В голосе его чувствовалось явное колебание, когда он сказал:

– Средства достижения цели выбраны наилучшие. Но я не вижу цель.

Впервые за весь совет Щербатов с живым интересом глянул на него. Сощурился, словно приходилось разглядывать издали, смотрел он на человека, который не видит цель. Сам он, если б его спросили, не видел значительно большего. Не только цели, но и средств достижения ее. Для серьезной операции у него просто не было их. И серьезных данных разведки тоже не было. Он готовился наступать почти вслепую. И все эти хитрости в плане, которыми Бровальский гордился, все это вынужденное, не от силы, от слабости. Как хитростью и смекалкой победить авиацию противника...

Но тут на углу стола завозился Шалаев.

– Нехорошо-о... – сказал он и покряхтел, уверенный, что его не перебьют, что к словам его и даже к его кряхтению прислушиваются со вниманием. – Нехорошо! Не видеть цели, когда идет война с фашизмом... И это говорит советский командир!..

Как человек, сказавший нечто удачное, он оглянулся, уверенно ожидая в этом месте встретить сочувственные улыбки. И не встретил ничьих глаз. Тишина затягивалась. И чем дольше затягивалась она, тем неуютней, хуже начинал чувствовать себя Шалаев. Он уже догадался, что сделал что-то не так.

Выждав время, Тройников посмотрел на него. Совершенно спокойными стеклянными глазами. Потом посмотрел на командира корпуса.

– Прощу продолжать! – повысил голос Щербатов, наливаясь гневом. Лицо его покраснело, заметней стала седина. Некоторое время слышно было одно его тяжелое дыхание. Если у него на совете, в его присутствии считали возможным ставить под сомнение политическую сознательность одного из двух его командиров дивизии, осмеливались в назидание всем, как мальчишку, учить полковника и коммуниста азбучным истинам, то в первую очередь это было оскорбление ему. А этого Щербатов принять не мог, и значит, этого не было.

Когда Тройников заговорил снова, все отчего-то старались не смотреть друг на друга. А на углу стола сидел бледный до желтизны Шалаев и, не владея лицом, нервно улыбался. Ожидай он заранее, что слова его вызовут такую реакцию, он бы не сказал их. Но с ним случилось то, что случается с людьми, слишком уверенными в себе. Все время, пока шел совет, он следил не за ходом военной мысли, в которой он, быть может, и не так хорошо разбирался, а за тем, как реагируют на полученный приказ командиры частей и соединений. Нестеренко реагировал правильно, так, как и следовало ожидать. И хотя в биографии его были моменты, о которых забыть не пришло время, Шалаев в определенных границах доверял ему и с удовлетворением видел, что не ошибся.

Тройников же заявил сразу и вполне ясно: «Я не вижу цель». Не видеть цель, когда идет война с фашизмом, – такие слова нельзя было оставить без ответа. Тем более что они могли повлиять на других командиров. И он ответил на них должным образом.

Но хотя слова Тройникова были совершенно определены и ясны, теперь он видел, что в них содержался другой, военный смысл, который здесь поняли все и вовремя не понял он один. Вот это обнаруживать не следовало. А главное, он перешел ту грань, которую ему переходить не разрешалось. Это было все равно что превысить власть. За превышение власти не хвалили.

С этой минуты в нем зрела безотчетная ненависть к Тройникову, такая, что временами обмирало сердце. Он не мог удержаться и взглядывал на него, бессознательно отыскивая те черты, которые эту ненависть могли укрепить.

И в то же время безошибочным чутьем, которое в равной мере есть у животных и у людей, особенно у людей нерешительных, позволяя им иногда выглядеть смелыми, чутьем этим Шалаев чувствовал, что Тройников не боится его. Командир корпуса бывал несдержан в гневе, но, читая в душах, Шалаев видел, что перед той силой, которая негласно стояла за ним, Щербатов нетверд. И, будучи всего батальонным комиссаром, что соответствует майору, он держался с командиром корпуса уверенно. Эта уверенность сегодня подвела его.

Во все время совета – и пока Тройников говорил, и после, когда он сидел, слушая соображения других, – он, как холод щекой, чувствовал ненависть, исходившую на него от человека, на которого он ни разу с тех пор не взглянул.

А за окном было позднее утро, солнце растопило смолу на стволах сосен, ею сильно пахло в лесном воздухе. Под навесом сарая ординарцы, забавляясь, повалили на землю щенка и по очереди соломинкой щекотали его тугой, раздувшийся от молока живот. Щенок, вывалявшись в пыли и сухом конском помете, скалил молодые клыки, ляггал ими, пытаясь укусить. Ординарцы хохотали, смачно сплевывая и куря, как по уговору не замечали лесника, хозяина дома. Высокий жилистый мужик в зимней шапке, под которой он прятал лысину, с бородой святого и глазами разбойника, он то из-за одного угла появится, то из-за другого, то веревочку подберет с земли, то гвоздик – мало ли добра раскидано, где военные стали на постой! – а сам глядел-глядел, чтоб солдаты сигарками не спалили сарай. За смехом и разговорами о пустяках ординарцы и связные помалкивали о главном, томились, ожидая, когда кончится совет.

Множество телефонных проводов с крыльца и из форточек штаба тянулось в лес, чтобы донести в штабы дивизий и дальше зашифрованные приказы, когда придет время передать

их. Но уже по другим проводам, идущим от сердца к сердцу, дошел до людей главный смысл происходящего.

Отпустив всех, Щербатов еще некоторое время работал с начальником штаба над картой. Потом он отпустил и Сорокина, тот ушел, забрав папку с документами и карандашами, и Щербатов остался один. И то неприятное, что не забылось, а только отодвинулось за делами, ждало, теперь напомнило о себе. Он оглядел избу, проходя, глянул на угол стола, где сидел Шалаев. Никто, возможно, не заметил и не понял, почему он, вдруг рассердясь и покраснев, повысил голос на командира дивизии, была только общая неловкость, но он-то хорошо понимал причину и знал. И рана, о которой напомнили, заныла сильнее.

Все это началось не сегодня и не вчера, а много раньше. Он даже не смог бы сказать точно, когда это началось, но один момент он запомнил ясно. Он тогда впервые испытал унижительное чувство, отголосок которого прозвучал сегодня в его душе.

Тогда собрания шли часто, и бывало так, что на одном собрании человек выступал с разоблачениями, а уже на следующем про него говорили: «Как мы оказались настолько политически близорукими, что смогли проглядеть врага, продолжительное время безнаказанно орудовавшего среди нас?» И вот на таком собрании капитан, один из его командиров рот, тихий, бесцветный человек, вдруг попросил слова. И пока он шел по проходу, очень спокойный, обдергивая на себе гимнастерку, все что-то почувствовали. Закрытый по грудь трибуной – только плечи и голова его поднимались над ней, – он прокашлялся в кулак, показав свою плешивую макушку.

– Товарищи!

И с этим словом, положив обе руки на трибуну, он прочно утвердился на ней.

– Политический момент, который переживает сейчас наша страна, титаническая борьба, которую ведет наша партия под руководством верного продолжателя дела Ленина, гениального вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина (он первый заплотировал, высоко подымая руки над трибуной, как бы показывая их, и в зале, и в президиуме заплотировали, многие – с восторгом), эта борьба, товарищи, требует от каждого из нас не только бдительности, но и партийной принципиальности.

Он говорил глуховато, званием он был младше многих, но с тем, что он говорил на этой трибуне, он как бы поднялся надо всеми. И каждый вслушивался, чувствуя, что сейчас должно что-то произойти.

– Давайте спросим себя, как коммунист коммуниста, спросим, положив руку на сердце: «Всегда ли мы искренни перед партией? Всегда ли мы оказываемся способны стать выше личных, приятельских отношений?»

И, положив руку на сердце, выслушав себя с закрытыми глазами, капитан отрицательно покачал головой:

– Нет, товарищи! Не всегда! Вот среди нас сидит полковник...

Тут он впервые поднял голову и посмотрел в зал. И Щербатов увидел его глаза, глаза своего подчиненного, столько раз опускавшиеся перед ним. Сейчас это были глаза человека, для которого уже нет запретного, который переступил и не остановится ни перед чем. Взгляд их, подымаясь, прошел по рядам.

– ...Вон там в углу сидит полковник Масенко.

И весь зал обернулся туда, куда указал палец с трибуны, и каждый, кто знал Масенко и кто не знал его в лицо, сразу увидел его: белый, пригвожденный, сидел он, чем-то незримым сразу отделившись ото всех.

– А ведь вы неискренни перед партией, товарищ Масенко! Я бы на вашем месте вышел сюда, – в тишине раздался четкий стук костяшек пальцев по доске трибуны, – и рассказал

присутствующим коммунистам... В двадцать седьмом году, помните, вы присутствовали на собрании троцкистов? Зачем скрывать от нас такой факт своей биографии?..

А по проходу уже шел, почти бежал пожилой полковник Масенко, рукой тянулся к президиуму, делал негодующие, отрицательные жесты. После смертной бледности кровь кинулась ему в лицо, его прошиб пот, он шел, утираясь, задыхающийся, всем своим видом подтверждая только что прозвучавшее обвинение. Перед ним отводили глаза.

– Я скажу... скажу! – кричал он еще снизу. Споткнувшись от поспешности на ступеньках, едва не упав, он взобрался на трибуну, где еще стоял капитан: – Я скажу-у!

Но в зале нарастал шум. То, что чувствовал каждый сейчас, Щербатов чувствовал в себе. Подумать, Масенко... Приятный скромный человек с боевой биографией. Троцкист!.. Вот уж невозможно было предположить. День, час назад спросили бы Щербатова, и он поручился бы за него. Ай-я-яй!..

А Масенко на трибуне непримиримо, угрожающе тряс щеками, и постепенно из-за общего шума стал все-таки слышен его голос:

– Я был. Да. Я был послан... Я по заданию партии... А вы, голубчик... Вы как же? Вы почему меня видели там? Как вы там были? И я еще скажу. Я сам хотел сказать... выйти. Я назову.

Щурясь с яркого света сцены в зал слепыми от волнения глазами, он кого-то искал и не мог разглядеть.

– Я назову...

Зал затих.

– Вот... вот, пожалуйста... Капитан Городецкий был тогда... посещал. Полковник Фомин.

Тишина была полной. И над этой тишиной, над головами все выше подымался трясущийся палец Масенко. Слепо щурясь, он выбирал кого-то еще.

– Вот... Сейчас... Вот...

И вдруг палец остановился на Щербатове. В ту долю секунды, пока поворачивался к нему зал, Щербатов успел пережить все. Он, ни в чем не замешанный, ни в чем не виноватый, со страшной ясностью ощутил вдруг, как вся его жизнь может быть зачеркнута крест-накрест, если палец остановится на нем. Надо было встать, сказать, но он сидел перед надвигавшимся, оцепенение сковало его. А потом вместе со всеми он обернулся на того, на кого, перенесясь, указал трясущийся палец Масенко.

Случай этот вскоре забылся, чтобы потом вспоминаться не раз. Щербатов шел домой после собрания с тяжестью в душе, но и с сознанием, которое в те дни укрепляло многих: ведь вот его же не обвиняют ни в чем таком. Если поискать внимательно, то все-таки в каждом отдельном случае что-то можно найти: либо прошлые связи, либо за границей был...

Дом, в котором жил Щербатов, был необычный. Он стоял в глубине квартала, многоквартирный, шестиэтажный, серый, со всех четырех сторон окружив собой двор, каких тоже немного было в их городе. В дальнейшем такими должны были стать все дворы. Зелень, качели и песочники для малышей, выровненные спортивные площадки для молодежи, обнесенные металлической сеткой. Зимой на них заливали два катка. И до позднего вечера на сверкающем льду под электрическими лампочками, протянутыми в воздухе, стремительно мчались на коньках раскрасневшиеся нарядные дети, и среди них – тайком проникшие сюда дети с соседних дворов.

Даже среди ночи к подъездам дома подкатывали машины: люди, жившие здесь, работали поздно. В большинстве своем это были ответственные работники, старые большевики, крупные военные, многие из них еще с дореволюционным партийным стажем. Сейчас тревога и ожидание опустили на этот дом. И уже не во всех его окнах по вечерам зажигался свет.

В одну из ночей пришли в их подъезд. Щербатов услышал, как остановился лифт, услышал топот многих ног на лестничной площадке, сдержанные голоса. В чью постучатся дверь? Напротив жил профессор-хирург. Щербатов быстро спрятал бумаги в ящик стола. Туда, где лежал пистолет. Теперь по ночам он перебирал бумаги. Готовился. Он не сегодня начал жизнь. Была революция, была гражданская война. Славные имена друзей, их письма, все это теперь могло стоять жизни.

Бесшумно вошла жена в халате поверх ночной рубашки. Так они сидели: он – в кресле, она – на краешке дивана, запахнув халатик на коленях, босые ноги в его домашних туфлях. Ждала молча – большие глаза на белом лице.

Позвонили к профессору. Дверь квартиры напротив, как мягкая спинка дивана, была обита дерматином для хорошей, спокойной жизни. За ее толстой обивкой умерли все звуки. Только перед утром звякнула цепочка и опять раздались шаги по лестнице. Ни плача, ни громкого голоса, словно негласно сговорились между собой и те, кому важно было, чтобы все это совершалось в тишине, и те, у кого крик рвался наружу. Только ниже, ниже по спирали лестницы затихавшие шаги многих ног.

Из подъезда они вышли тесной группой. Среди штатских плащей и фуражек – человек, который много лет был его соседом. Было еще темно, как ночью, и горел желтый фонарь над подъездом. По асфальту двора двинулись к черной, блестящей под дождем машине; сверху и машина и люди казались расплюснутыми на асфальте. На виду всего дома, от взглядов спасаясь, от позора, профессор, спеша, сам сунулся непокрытой головой вперед, в распахнутую для него пустоту черной машины. Хлопнула дверца – гулко отдалось в каменном колодце двора, в пониженной тишине.

Взревев мотором, машина скрылась, а на том месте, где стояла она под дождем, осталось сухое пятно на асфальте и трое дворников в белых, словно на праздник надетых, фартуках.

У жены вдруг начался озноб. Она легла на диван и под двумя одеялами не могла унять дрожь. Он грел в ладонях ее ледяные ступни, а перед глазами, смотревшими в одну точку, в темный угол, стояло одно и то же – как сосед его, профессор, непокрытой головой вперед сам сунулся в распахнутую дверцу машины, приниженно склонив шею. И было в этой приниженности такое что-то, чего Щербатов понять не мог. После не раз он видел, как невинные вели себя виноватыми, но в тот момент это объяснение не шло на ум.

Они были всего лишь добрые соседи. Общая лестничная площадка не соединяла и не разделяла две семьи. Но дети их учились в одной школе, бегали друг к другу за уроками. И сознание, что там, за той дверью, двое детей, не давало покоя. Щербатов разговаривал с сыном и ловил себя на том, что думает о тех детях. За столом жена смотрела на сына – и вдруг глаза ее наполнялись слезами.

Однажды вечером, вернувшись домой раньше обычного, он застал соседку. Еще в передней жена шепотом предупредила, кто у них, и робко заглянула при этом ему в глаза. Щербатов вошел. Женщина поднялась ему навстречу, испуганно покраснев. Она знала, что, входя к ним в дом, она подвергает их опасности, и только в его отсутствие решилась зайти: с жены другой спрос, жена не работала. Щербатов почтительно поздоровался с нею. Она заторопилась уйти, но ее уговорили остаться. Она была причесана и одета особенно тщательно, и, понимая, что это могло показаться странным в ее положении, как бы предупреждая вопрос, сказала:

– Туда, в приемную, все стараются одеться прилично. Не богато, не вызывающе – прилично. Огромная очередь прилично одетых людей, старающихся произвести хорошее впечатление, а в окошке старичок отвечает всем одно и то же. Я никогда раньше представить не могла: там, в приемной, где все связаны одной судьбой, люди сторонятся друг друга. Как будто думают: «У них мужья действительно враги народа, но в отношении моего произошла ошибка, и это сейчас выяснится». Я встретила в очереди свою коллегу, врача нашей поликлиники – она отвернулась. Мы час стояли рядом, как незнакомые. Когда видишь там размеры всего... – она

медленно покачала головой, глядя остановившимися глазами внутрь себя, во что-то ей одной видимое. – Ничто не может помочь. Только случайность. Процент, в который кто-то попадет.

Уже встав и уходя, рассказала вдруг:

– Сегодня там девочка лет четырнадцати, такая, как моя Ира, принесла передачу сразу троим: матери, отцу и брату. Она приезжает откуда-то. Одна. От поезда до поезда. А окошко закрылось на перерыв на двадцать минут раньше. Кто что может сказать? И ей либо возвращаться обратно с передачей, либо сутки ждать на вокзале другого поезда. Она постучалась. Как мышка. Потом еще. И вдруг окно раскрылось, и через него рукой вот так он толкнул ее. В лицо. Так, что она упала на нас... Знаете, это только ребенок мог сделать. – У нее вдруг мурашки пошли по щекам. – Мы, взрослые, самое большее – можем заплакать. Она бросилась на это окно, как звереныш, она била в него кулаками, кричала: «За что вы меня ударили? За что? За что?..» И что-то случилось с людьми. Очередь начала гудеть. И вы не поверите, он выбежал из дверей и сам при всех принял у нее посылку... Он не нас испугался, он что-то сделал недозволенное ему. Все должно совершаться в тишине и иметь вид закона. А он нарушил что-то.

Больше соседка не заходила к ним. И вскоре уже передачи носила их старшая дочь, Ира. И ей, и отцу. Как та четырнадцатилетняя девочка, о которой она рассказывала.

ГЛАВА II

Среди тысяч сыновей, вместе составлявших 3-й стрелковый корпус генерала Щербатова, был лейтенант Андрей Щербатов, его сын. Не адъютант, не радист при штабе, не артиллерист – командир стрелкового взвода. Когда-то и сам Щербатов командовал стрелковым взводом, только лет ему было поменьше, чем сыну, едва-едва за семнадцать перевалило. Был он тогда уже ранен и снова уходил на фронт. И плакала мать, когда, казалось бы, радоваться ей и гордиться надо, видя его в ремнях и коже, с маузером на боку. Матерей начинаешь понимать, когда у тебя у самого уже растёт сын, такой же дурак, как ты когда-то. Но он – твой сын, и мать отпустила его с тобой на войну.

Ночью Щербатов вызвал сына к себе. Он ждал его и думал о нем.

...Однажды Андрей прибежал из школы возбужденный. Это было время, когда ежедневно снимали одни портреты и вешали на их место другие, когда изымали книги и в учебниках зачеркивались фамилии. Андрей был в комитете комсомола, в гуще всех событий. В тот раз он прибежал после комсомольского собрания, на котором разбиралось дело его сверстницы, Иры, дочери соседней. У детей, как и у взрослых, существовал уже установившийся порядок: перед своими товарищами, перед классом она должна была на комсомольском собрании осудить своих родителей, врагов народа, отречься от них.

– Понимаешь, отец, – рассказывал Андрей, заново переживая, – мы ей говорим: «Тебя мы знаем, но им ты должна дать принципиальную оценку. Ты – комсомолка!» А она, как дура, стоит перед всеми и твердит свое: «Моя мама – честный человек. Она не может быть врагом народа. Даже когда папу арестовали, она мне все равно только хорошее говорила про товарища Сталина».

«Да ты пойми, говорим мы ей, они тебе всего не рассказывали». Объяснили ей, поняла, кажется, и – опять свое: «Моя мама – хороший человек». – «Значит, органы НКВД арестовывают невиновных, так по-твоему?»

Это говорил ему Андрей, сын, и лицо сына дышало искренним возбуждением. Щербатов спросил осторожно:

– А если б тебе сказали, что вот я, твой отец, – враг народа. И ты должен отречься от меня...

– При чем тут ты? – Андрей обиделся. – Как ты можешь так говорить? Ты в революцию воевал! А она сама созналась, что отец ее по месяцу не бывал дома, ездил в какие-то научные командировки. Научные!.. Может она знать, чем он там занимался? Ручаться имеет право? Два раза, оказывается, за границей был. Могли его там завербовать? Могли! Откуда она знает? Да если хочешь знать, у нас сегодня в школе у всех отобрали тетрадки с Вещим Олегом! Оказывается, если перевернуть тетрадку вниз головой, так из шпор получается фашистский знак. И другую тетрадку тоже отобрали. Где Пушкин. Там позади него – полки с книгами. Так из книг можно составить: «Гитлер»! Я сам проверял!..

Глаза Андрея блестели. Щербатов смотрел на него.

Андрей не знал прошлого. Не пережив сам, он знал его только в том виде, в котором оно существовало сейчас. Для Андрея, например, имена полководцев революции, ныне исчезнувших с позорным клеймом врагов народа, были просто именами. Для Щербатова это были живые люди, которых он знал, под чьим командованием сражался не в одном бою. Он помнил оборону Царицына несколько иначе, чем она излагалась теперь. Для Андрея же если не единственным, так величайшим полководцем революции был Сталин. И все планы разгрома белых, которые он изучал в школе, это были планы, предложенные Сталиным, которые потом Ленин одобрял. Он начал свою сознательную жизнь, когда единственным именем, вобравшим в себя

всё, было имя Сталина. Оно было так же несомненно, как солнце на небе, которое он привык видеть ежедневно, как воздух, которым он дышал.

Поколебать эту веру? А с чем оставить его в душе? Слепая вера страшна, но страшно и безверие. Быть может, впервые в тот раз вдвоем с сыном, родным человеком, Щербатов чувствовал себя одиноким.

...Щербатов стоял у окна, когда Андрей подошел к штабу. Светила луна из-за черных зубцов сосен, и в свет ее по росе вышли двое. Щербатов сразу увидел Андрея. А с ним была женщина. В юбке, с пистолетиком на боку, в пилотке набок. И, конечно, завитая. Вся в кудряшках. И старше его. Во всяком случае, опытней. Сразу видно, а Андрей держал ее руку. Они стояли под луной на расстоянии друг от друга, и Андрей смеясь рассказывал что-то и был счастлив. Но оттого, что на них могли смотреть ординарцы от штаба, он держался с нею небрежно. Как будто они просто знакомые. Просто шли вместе. Но ревнивым отцовским глазом Щербатов сразу увидел, что не просто знакомые. И передернул плечами. Он испытал брезгливое чувство за сына. Дурак! Молодой и дурак! Цены себе не знает. Разве это нужно ему? В пилотке, с пистолетом...

Он отошел от окна, встретил сына, стоя посреди комнаты.

– Пришел? Здравствуй.

Щербатов подал руку, и сын с внезапно заблестевшими глазами стиснул ее изо всей силы. Рука отца была шире, ее неудобно было жать, Андрей даже заскрипел зубами от усилия. Мальчишка! Головки хромовых сапог его блестили росой, а голенища были седыми от пыли. Километров пять сейчас прошагал. От волос его, от гимнастерки пахло лесом, вечерним туманом – молодостью пахло.

– Сейчас будем обедать, – сказал Щербатов.

И тут в дверь вошел Бровальский.

– А-а!.. – сказал комиссар, увидев их вдвоем. И, дружески здороваясь с Андреем за руку, он улыбкой показал на него, словно бы представлял его Щербатову: «Каков!..»

– Ты здесь будешь? – спросил он погода. – Так я поеду.

Это «ты» не было выражением полной душевной близости между ними. Это было скорее полагавшееся «ты». Иначе могло выглядеть со стороны, что командир и комиссар как бы не едины.

– Съезжу погляжу, как там и что, – сказал Бровальский небрежно, как о несущественном, улыбнулся и поднял брови. Он был уверен в совершенной необходимости своей поездки.

Сейчас, когда в ночи уже снялись войска и начали свое движение к переднему краю, все, что было в штабе, устремилось туда, и Сорокин, и Бровальский вот тоже, словно бы им неловко было друг перед другом не участвовать. Они мчались, чтобы дать выход охватившему их нетерпению, чтобы там, на дорогах, превратившись в сержантов и взводных, отменять чьи-то приказания и давать свои, которые потому только лучше, что исходят от вышестоящего начальства; чтобы требовать к себе внимания и тем самым еще больше увеличивать путаницу и неразбериху.

– Ну что ж, езжай, – сказал Щербатов и кивнул, как бы подтвердив необходимость поездки. И они остались с сыном вдвоем.

– Отец, – сказал Андрей, – это правда?

И умоляюще глянул на него своими правдивыми глазами, в которых не то что мысль, тень мысли была уже видна – мать глядела из этих глаз. Щербатов нахмурился, засовывая угол салфетки за воротник, кашлянул густо. Не потому нахмурился, что Андрей не имел права спрашивать его об этом: лейтенант, даже если он сын командира корпуса, – все равно лейтенант, тем только и отличающийся от других, что с него больший спрос; и не потому, что это была немужская черта – проявлять несдержанность, а потому, что ему не по себе стало под устремленным на него честным, спрашивающим взглядом сына. И он нахмурился. Андрей покрас-

нел до выступивших слез. И все же не мог скрыть радости. Потому что это – правда. Потому что готовилось наступление. Отец не случайно вызвал его к себе. И когда вошел ординарец с бутылкой водки в полотенце – он охлаждал ее в ведре с колодезной водой, и с бутылки сейчас капало, – Андрей и на него взглянул счастливыми, еще влажными и оттого особенно сиявшими глазами.

Ординарец, усатый и немолодой, достаточно на своем веку потянувший ляжку, понял эту радость по-своему: как не обрадуешься у отца за столом после солдатской-то каши на травке! Она и хороша, и полезна для солдата, пшенная каша, да плешь переедает. И, шевеля в улыбке усами, он с особенным, отцовским чувством, не заискивая, а единственно радуясь за Андрея, незаметно пододвигал ему что повкусней и налил ему полную, до краев стопку. Снизу Андрей благодарно улыбнулся ему. Он понимал, почему ординарец так на него смотрит. Это было выражением любви и уважения к его отцу. И, чокнувшись с отцом, Андрей поднял стопку, показывая ординарцу, что мысленно чокается с ним.

Они только сегодня узнали, сегодня поняли все, какой у него отец. А он всегда знал. Он не мог говорить этого, потому что отступали. Если бы знал отец, как больно, как тяжело было отступать! Не за себя. Что он, в конце концов! Тысячи лейтенантов таких, как он. Убьют – другого поставят, не худшего и не лучшего. Но отец... Как нестерпимо было ему, когда он, умней, талантливей, мужественней всех этих немецких генералов, и – отступает.

С первых сознательных дней он помнил холодок уважения, когда, осторожно приоткрывая дверь, сам ниже ручки, прокрадывался к отцу в кабинет. Черные клеенчатые (тогда они казались ему кожаными) кресла, крепкий запах табака, отцовская спина у стола в кресле и – тишина. Особенная тишина. А на стене сквозь дым блестело оружие. Отцовское оружие времен гражданской войны, которым он убивал врагов. Комбриг! Это его отец был комбриг. Потом начдив! Комкор! Как это звучало: «начдив»! Чапаев был начдив.

Самое счастливое время было, когда отец возвращался с маневров, из летних лагерей. Еще в коридоре он поднимал Андрея на руки, пропахший пылью походов, принеся ее с собою на плечах гимнастерки, на сапогах. Жесткая отцовская щека пахла махорочным дымом. А может быть, это пахло пороховым дымом или дымом ночных солдатских костров.

Все товарищи знали этот день, когда возвращался его отец. И они завидовали ему. А когда отца не было, он иногда тайком прокрадывался с ними в кабинет и там позволял им трогать на стене отцовское оружие. Только потрогать. Снять его оттуда он даже сам никогда не смел. И мальчишки, дотянувшись с дивана, трогали рукой, и металлический холод отгремевшего оружия заставлял вздрагивать от счастья их маленькие воробьиные сердца.

Все, что делал отец, было окружено в доме уважением. И то, как он выходил к столу, когда уже все за столом сидели, и особенно как он, закрывшись, часами работал в своем кабинете. На цыпочках проходя мимо двери, около которой всегда стоял в коридоре запах крепкого табака, Андрей слышал тишину и изредка в ней скрип пружин отцовского кресла. Это уважение и тишину в доме строго берегла мать. Особенно в последние годы. В эти годы уже взрослый Андрей, просыпаясь среди ночи, всегда слышал шаги в отцовском кабинете. Скрип, скрип, скрип... – из угла в угол сухо поскрипывали сапоги. И слышен был шепот матери. Днем она всегда была сдержанна, ровна, строга.

По целым ночам из-под двери кабинета светила в коридоре желтая полоса света и слышался шепот матери. Было это тревожно, хотелось не думать об этом. В эти предвоенные годы исчезли все лучшие товарищи отца. Андрей помнил их живыми. Веселые, сильные люди, смеясь, они сажали его к себе на колено, обтянутое синим диагоналевым или походным галифе – гоп! гоп! гоп! гоп! – и он подпрыгивал, словно на коне, счастливый и гордый. Они исчезали один за другим, вдруг, и отец по целым ночам ходил по кабинету из угла в угол, и по целым ночам светила из-под двери желтая полоса. Происходило что-то страшное, о чем в доме нико-

гда не говорили с ним. Это нельзя было понять, можно было только не думать и верить. И Андрей верил, и основой его веры был отец.

Не в лётное, не в кавалерийское, не в танковое – он пошел в пехотное училище, идя дорогой своего отца. А когда началась война, он встретил ее вместе с отцом, под его командованием. И сейчас он снова гордился им. Он знал, отец не любит таких слов, он никогда не посмел бы их сказать ему. Он только поднял на него глаза, полные любви и гордости. Щербатов нахмурился.

– Отец! – сказал Андрей, а про себя подумал: «Черт! Водка, наверное». – Отец, если разрешаешь, налей еще одну.

Широкая рука Щербатова с бутылкой протянулась к нему. Она была рядом с ним, на весу. Отцовская рука. И Андрею за все, что она дала ему, за радость, которую он испытывал сейчас, вдруг захотелось поцеловать ее, широкую отцовскую руку. Но он сдержался.

Они говорили о матери: Щербатов только что получил от нее письмо, для себя и для сына. Андрей ел и читал письмо, держа его перед тарелкой. Чудачка мать...

– Знаешь, отец, у нас командир роты вот такой. По плечо мне. Он, когда приказывает, вздрагивает от своего голоса и становится на носки. И руки держит самоварчиком...

Андрей рассказывал и сам же смеялся, и половину слов из-за этого нельзя было разобрать. Это у него с детства. Когда-то Щербатов учил его, что нельзя смеяться первому: ты рассказываешь, дай посмеяться другим. Он учил его быть сдержанным. А может, не это главное?

– И понимаешь, вчера исчез вдруг боец. Говорят, местный. Не из моего взвода. Так наш командир роты...

Андрей вдруг спохватился, робко глянул на отца. Глаза были виноватые. Он забыл в этот момент, что отец его – командир корпуса, и, рассказывая так, он подводит своего товарища, командира роты. Щербатов сделал вид, что не слышал. Да, этому он тоже учил его. Он учил его, что заслуги отца – это еще не заслуги сына. Все, чего должен Андрей достигнуть в жизни, он должен достигнуть сам. Потому что не знал, будет ли и дальше у Андрея отец. А если это случится, ему будет трудней, чем многим его товарищам. Он не мог сказать Андрею, но готовил его к этому. Сын должен был выстоять. Выстоять и остаться человеком.

Он учил его быть честным. Многого менялось в жизни, многие люди менялись на глазах. Но есть вечные человеческие ценности. Среди них – честность. Честь. А вот сейчас ему хотелось сказать Андрею, чтобы тот пошел к нему адъютантом. Почему адъютантом у него должен быть чужой, а не его собственный сын? Отец и сын – в этой войне они должны быть вместе. Об этом просит в письме мать. Но даже ради матери он не мог этого предложить Андрею.

Щербатов смотрел, как ест сын, молодой, страшно голодный. Смотрел на его наклоненную голову, маленькое покрасневшее ухо, за которое когда-то в детстве трепал его. На плечи, уже налившиеся силой, – португеза врезалась в них.

– Стой, отец! – Андрей даже есть перестал, вспомнив, и шлепнул себя по лбу. – Вот бы забыл! Понимаешь, у меня во взводе боец есть. Оказывается, инженер московского завода. Страшно головастый мужик. Я даже не понимаю, зачем такого взяли на фронт? Глупо. Что от него пользы с винтовкой? Убьют, и только, а он инженер. Отец, можно что-нибудь сделать?

Щербатов только усмехнулся.

– Просто глупо, – сказал Андрей. – Был бы он летчик хотя бы. Вот слушай, что он придумал. Обыкновенный лук, почти как у индейцев, – Андрей засмеялся, как в детстве. – Мы пробовали. Берешь бутылку с зажигательной смесью и стреляешь. На пятьдесят метров бьет. И точно бьет. Рукой так не кинешь. Знаешь, как удобно из окопа по танкам бить?

Щербатов едва не вздрогнул. Те в танках, в броне, под прикрытием самолетов, а его сын с луком, как индеец, готовится бутылками стрелять в них. И он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, пол-литровыми бутылками поджигать их, учит смекалке. Неужели он виноват, что так случилось?

– Отец, – сказал Андрей, прощаясь, – я рад, что мы вместе. Знаешь, как я в детстве завидовал тебе! Ты прости, что я тебе так говорю, ты не любишь этого, но ты знай: за меня ты стыдиться не будешь.

И он посмотрел на отца своими правдивыми глазами, взгляда которых Щербатов вынести не мог сейчас.

Он стоял у окна и видел, как Андрей напрямик идет через поляну, идет легко и радостно по траве, дымчатой от росы. Мальчик. Его сын. Которого мать отпустила с ним на войну.

ГЛАВА III

Всю ночь по дорогам и бездорожно шли полки, перемещаясь вдоль фронта. В слитной людской массе, застряв и возвышаясь над нею, двигались пушки, повозки. Запах бензина, конского пота и махорки витал над походными колоннами. Рано поднявшаяся луна закатилась за лесом, и люди шли в кромешной тьме, в плотной, стоявшей над дорогами пыли. Скакали офицеры связи с приказами, кого-то поворачивая с полпути, кого-то направляя в другую сторону. Радостный подъем первых часов начинал сменяться усталостью, спешкой, раздражением.

Все это несметное множество людей и техники, из окопов, из лесных укрытий с первыми сумерками хлынувшее на дороги, чтобы к рассвету исчезнуть, раствориться в окопах и лесах, теперь, казалось, запутывалось, стискивая друг друга, сбиваясь на мостах и гатях. А над ними, тяжелым гудением сотрясая воздух, проходили немецкие бомбардировщики, волна за волной, все на восток, на восток, на восток, где не утихал бой. И далеко на юге шел бой, и на севере вздрагивала земля от бомбовых ударов, явственно приблизившихся ночью. Но впереди фронт немо молчал, изредка расцветая сериями взлетающих ракет; свет их, не пробиваясь, гаснул за лесом.

Захваченный общим движением, сжатый со всех сторон, Тройников остановил машину, не глуша мотора, сидел, положив руки на руль, а навстречу текли войска. Июльская ночь была душной, и пыль, вздымаемая тысячами сапог, висела над дорогой. Он слушал шаг пехоты, звяканье оружия, пригнанного снаряжения. Ощущение близкого боя уже владело людьми. Они проходили в пыли рядом с его машиной, узнавали, оборачивая на ходу лица. И в этих молодых, сдержанно-веселых лицах, на миг возникавших перед машиной из темноты и вновь исчезающих в темноте, в сотнях людей, проходивших под его строгим взглядом, он чувствовал сейчас то же, что чувствовал в самом себе. Он слышал шаг солдат, идущих с полной выкладкой, обрывки разговоров долетали до него. Не команды и приказы, а вот это возбуждение, равно владевшее им и его людьми, чувство собственной силы и ожидание боя было сейчас главным и необычайно значительным. И то ощущение физического здоровья, которое он знал в себе и особенно остро испытывал только в своей дивизии, он испытал и сейчас. Не роты и батальоны, а нечто нераздельное, здоровое, молодое, горячее двигалось мимо него и с ним вместе в бой. Голова его была холодной, а сердце, которым Тройников умел владеть, билось сильными, ровными ударами в такт их мерным шагам.

Он толкнул машину вперед, и лица, фигуры бойцов в гимнастерках, сторонящиеся с середины дороги, как бы на миг застывая в движении с занесенной ногой или рукой, быстрее замелькали навстречу.

Издали еще, подъезжая к мосту через мелкую речонку, Тройников слышал голоса и шум, и пехота оттуда шла с веселыми лицами, оставшие бегом догоняли товарищей. Тройников вылез из машины. Он узнал раздававшийся у моста голос начальника штаба корпуса Сорокина с генеральскими раскатами и старческим беспомощным дребезжанием. Сам Тройников взыскивать со своих офицеров и солдат мог, дивизия была его. Но он не любил, когда это делали другие, тем более вышестоящие начальники. Сунув ключи от машины в карман, Тройников медленно пошел туда среди двигавшихся навстречу и расступавшихся перед ним солдат.

На мосту, который по заверениям мог бы выдержать танк, провалилась легкая пушка. И больше всех теперь недоумевали те, кто главным образом был виноват. Ну и, как водится, машина с начальством, которой и ехать тут было ни к чему, которая могла сейчас находиться на любой из дорог, к случаю оказалась именно здесь.

– Вот, полюбуйся на орлов! – издали заметив Тройникова, закричал начальник штаба. – Твои и Нестеренкины!

И в голосе его была личная обида человека, который все так хорошо составил, рассчитал и учел, и вот из-за нераспорядительности, из-за ротозейства, из-за какой-то несчастной пушки все рушилось и приходило в хаос. А уже напирала сзади машины и другие пушки, на дороге, сжатой с двух сторон лесом, образовывалась пробка.

Для Сорокина не имело значения, чья это пушка. Главным было, что рушился его продуманный во многих деталях план. Но для Тройникова как раз это имело значение. Одно дело, если это Нестеренкина пушка, и совсем другое дело, если это пушка его. В определенном смысле это сейчас был даже вопрос чести. Но выходило, кажется, что провалилась под мост его пушка. И командир батареи, растяпа, в присутствии вышестоящего начальства жаловался еще:

– Он, товарищ полковник, у меня бойца увел!

Красивая складывалась картина. Мало того, что пушка под мостом, так еще кто-то из Нестеренкиной дивизии увел у них бойца. С заложенными за спину руками Тройников повернулся туда, куда указывал капитан. Там стоял старший лейтенант артиллерист. Под взглядом командира дивизии он по-строевому отчетливо приложил руку к козырьку, но явно не робел. В нем чувствовалась нескованность человека, знающего себе цену и готового за свои действия отвечать. И обмундирование на нем сидело как влитое. Штатский человек, сколько бы ни старался, как бы ни затягивался, все равно видно, что в форму он влез, как лошадь в широкий хомут. А этот словно родился в ремнях, и гимнастерка на его сильном теле сама сидела именно так, как единственно она и могла сидеть.

Опытным глазом Тройников все это увидел и оценил, но каждое из этих качеств, при других обстоятельствах расцениваемое со знаком плюс, теперь тем сильнее было направлено против старшего лейтенанта, чем более жалким по сравнению с ним выглядел растяпа капитан.

С холодным любопытством Тройников оглядел его. Смел! Сам Тройников не робел перед начальством, но это еще не значило, что в отношении него кто-то из подчиненных мог позволить себе подобное. Тем более офицер другой дивизии.

А Сорокин все еще кричал, и капитан вытягивался перед ним, пытаясь оправдаться. Ему то было обидно, что у него увели бойца и никто не хочет принять это во внимание. И не мог понять: раз его пушка под мостом, он уже ни в чем прав быть не может. Чем больше обижен, тем более виноват.

– Ты разберись тут, Тройников! – приказал Сорокин, строгостью прикрывая свою беспомощность. – Чтоб через десять минут пробка рассосалась. Это твой, между прочим, твой орел отличился: чужого бойца увел...

Так вот что оказывается! Это меняло картину. И Тройников заново оглядел старшего лейтенанта. «Смел!» – подумал он, на этот раз уже с одобрением. Теперь он заметил и двух бойцов с карабинами, стоявших за его плечом, – оба по виду и по духу такие же, как их комбат. А батареи поблизости не было. Батарею и того самого бойца, из-за которого шел спор, видимо, отправил вперед. Старший лейтенант начинал ему нравиться.

– Как фамилия? – спросил Тройников строго, поскольку подобных действий он одобрять не мог.

Комбат опять козырнул, и с ним вместе подтянулись оба разведчика.

– Старший лейтенант Гончаров, товарищ полковник!

Глаза глядели весело. Кажется, не глуп.

– Почему не знаю?

Улыбка, едва заметная, тронула губы комбата:

– Прибыл в вашу дивизию недавно, товарищ полковник!

Врет! По глазам видно. Но обстановку оценить сумел. И Тройников уже с удовольствием оглядел его, запоминая.

– Надо помочь Нестеренке, – сказал он, чтобы все слышали, и приласкал взглядом растяпу капитана, уже за одно то его полюбив, что он, такой неудачливый, был не в его дивизии. Да в его дивизии и не мог быть такой. – Поможем, раз в беду попал!

И оглянулся, уверенный, что кто-то, кто ему нужен, окажется за его спиной. И действительно, за спиной его оказался командир проходившего мимо батальона.

– Так точно, товарищ полковник, поможем, – доложил командир батальона, на лету смекнув.

До сих пор пехота, видя гневающегося генерала, сама, без команды, делала «шире шаг!», тем более что Сорокин никому определенно ничего не приказывал, а кричал сразу на всех. И ни у кого не возникало охоты попасться ему на глаза. Но теперь тут был командир их дивизии, и он сказал: «Надо помочь». Направляясь к своей машине, Тройников видел, как солдаты посыпались под мост, где лежала провалившаяся пушка, и уже раздалось: «Раз, два – взяли!.. Еще – взяли!.. Сама пойдет! Сама пойдет!..»

Перед утром Тройников вернулся на свой КП. Издали заметя командира дивизии и весь подобрившись, часовой с трофейным автоматом на груди приветствовал его. Тройников по своей привычке строго глянул солдату в глаза, окинул взглядом его всего от носков сапог до звездочки на пилотке.

Часовой был молодой, крепкий парень, давно влегший в солдатскую ляжку и несший ее легко. Он охотно тянулся перед командиром дивизии, но не слишком, а весело. Вот такие были бойцы его дивизии, на каждого приятно посмотреть. Ответив на приветствие, Тройников вошел в землянку.

Все то мелкое, что занимало его на дорогах – его ли пушка придет раньше, или пушка другой дивизии, – все это отошло сейчас на задний план. Тройников достал карту из планшетки, расстелил ее на столе – от движения воздуха в сыром сумраке землянки заколебались желтые огни свечей – и, закурив, уперевшись в расстеленную карту ладонями, задумался.

Да, он не воевал еще, предстоящий бой будет его первым боем. Но у него были свои преимущества перед теми, кто перенес разгром, окружение, отступал от самых границ. Бесследно это не проходит.

Как в большинстве людей живет подспудное ощущение, что вся жизнь, которая промелькнула до них, была как бы подготовкой к тому главному, что началось с их появлением, так Тройникову казалось, что основное начинается только теперь. И перед тем, что начиналось, он был тверд. Стоя над картой, он думал не о потерянных километрах – не ими измеряется успех. Он думал о том, как будет изменен ход войны. Чем тяжелей положение, тем крупней должен быть риск. Он чувствовал в себе силы, верил, что его час придет.

Отвлек Тройникова адъютант, явившийся доложить, что командиры полков, вызванные на рекогносцировку, прибыли.

С холма видно было поле, реку и деревню за рекой. И весь этот очерченный тающим горизонтом простор полей, с деревенькой вдали, с блеском реки и лесом, с желтыми хлебами, зеленым лугом, с высоким летним небом, вместе с облаками, отраженными в реке, казался остановившимся, неправдоподобно мирным.

Тройников подозвал первым к стереотрубе командира 205-го стрелкового полка Матвеева, рукой указал за реку, за луг – на деревню:

– Видишь деревню? Будешь ее брать.

Матвеев, черноволосый, крупный, на последнюю дырочку затянутый по животу широким ремнем, с мясистыми щеками, оттопырившими снизу мочки ушей, и странными на этом полнокровном лице тоскующими глазами, долго смотрел на деревню, потом так же долго смотрел на карту, придерживая ее на планшетке толстыми пальцами, – ветер трепал углы.

– Может не даваться в лоб, – сказал он наконец, посопев, и потянул себя за ухо.

Тройников глянул на его яркие тугие губы, медленно произносившие слова. В этом сильном мужском теле с богатой растительностью была немужская душа. По необъяснимой причине она досталась Прищемихину, который рядом с Матвеевым казался подростком. Подросток с морщинистым лицом, узкими глазами, в которых мелькала быстрая мысль, большими оттопыренными ушами и вздернутым носом, в ноздри которого было глубоко видно. Был Прищемихин опытен в военном деле, и хотя задача пока что ставилась не его полку, он, времени не теряя, прикидывал ее на карте.

– Ну и прав немец, что не дается в лоб, – сказал Тройников. – Дурак он, что ли? А поверить, что мы дураки, в это он поверит: не мы его, он нас бьет. Брать деревню будешь ты. А возьмет ее Прищемихин. Понял? Удар твой ложный. Немца притянешь на себя, свяжешь его в бою, а Прищемихин тем временем выйдет в тыл. Иди сюда, Прищемихин.

Река, огибая деревню, текла до леса и там, разлившись широко, заворачивала на запад в отлогих берегах – от нас на левом фланге, от немцев – на правом. И по нашему берегу в зеленой осоке кое-где стеклышком на солнце блестела в низине вода. Это было болото, обмелевшее сейчас и подсыхавшее в июльскую жару без дождей. Болото, река, а за рекой на том берегу по лугу немецкие позиции.

– Разведку посылал? – спросил Тройников.

– Ходила, – сказал Прищемихин, скромно умолчав, что ночью сам лазил с разведчиками по болоту и даже на той стороне побывал. Он вдруг улыбнулся, мелкие морщины пошли по всему лицу, верхняя короткая губа поднялась, оголив крупные зубы. – Начистоту говорить можно?

– Говори, я послушаю.

– Ходила разведка. Ничего, болото перебрести можно. Только днем под огнем по кочкам оскользаться... Так я их до рассвета еще там положил.

– Где там? – Тройников глядел на него глазами испуганно-радостными.

– В осоке лежат.

– Где? Не вижу! – говорил Тройников, вскинув бинокль к глазам. – А ну, кто видит? Смотрите все!

Он оттого заставлял сейчас смотреть всех, что гордился Прищемихиным, отличал его и хотел, чтоб все видели это.

Но во всех биноклях только блестела река и на немецком зеленом луговом берегу заметно было кое-где шевеление. А на нашем берегу простерлось болото под солнцем – кочки, трава и вода. И ни души.

– Жить хотят, оттого и не видно никого, – сказал Прищемихин и усмехнулся. – Это на учениях, бывало, сколько ни гоняй, только отвернулся – один голову высунул, другой задницу, хоть стреляй их. А тут не ученье – война. С ночи в осоке лежат, брюхом в воде. Водки каждому двойную норму выдал, но – не куря! Предупредил строго. Деревню возьмете – закуривай! Старшинам с ночи приказ дал: «Кухни держать под парами!» И маршрут: как пехота в деревню войдет, чтоб раньше артиллерии с кухнями быть там.

Командир резервного полка Куропатенко, коротко остриженный и все равно рыжий, как осеннее солнце, захохотал от души:

– Да ты правду говори, Прищемихин, – может, твои в деревне уже?

– Зачем в деревне, – поскромничал Прищемихин. – Мои в болоте лежат. Я так мыслю. – Развернув карту на колене, Прищемихин поднял палец у себя над головой и кому-то погрозился.

Всем в дивизии было известно: Прищемихин не «думает», не «предполагает», а – «мыслит». Даже к ординарцу своему обращался он так: «Ты насчет ужина сегодня как мыслишь?» Был он солдатом еще той германской войны и, выросши до командира полка, пройдя все ста-

дии – и взводного, и ротного, – остался солдатом по своему нутру. И хотя не раз посылали его на курсы командного состава, бой он все равно видел по-своему, не сверху, а снизу.

– Я мыслю так: немец на той стороне по лугу редко сидит, так кое-где порыл окопчики неглубокие. Глубоко нельзя, вода близко подступает. На ночь он в деревню спать идет, вместо себя ракетки пошвыривает, реку освещает. Тут нам главное дело не перемудрить. Откуда он меня ждать может? От леса. Лес к самой воде подступает, там скрытно сосредоточиться можно. Так я в лесу одну роту оставил. Командир роты – парень молодой, но мыслит правильно. Ударит оттуда для отвода глаз, но с умом, чтоб людей зря в трату не дать.

Тройников слушал его улыбаясь. Мельком глянул на Матвеева. Нахмуренный, тот завистливо сопел. На широкой переносице между бровями проступил пот.

– Добро! – сказал Тройников. – Действуй. Одним батальоном выйдешь деревне в тыл, двумя, не задерживаясь, – вперед. До скрещения дорог. Возьмешь высоту плюс пять ноль, оседлаешь дороги – и сразу окапывайся. Это твоя главная задача. Дальше высоты не иди! – он погрозил Прищемихину. – Понял? Ужинаю у тебя, раз у тебя кухни в первом эшелоне идут.

ГЛАВА IV

Настал день, и дороги опустели. Все исчезло. Скрылось в землю. Остались только бесчисленные следы ступавших здесь ночью сапог, перечеркнутые колями повозок, вдавленными следами гусениц, – над всем этим, казалось, еще витали голоса.

Всходило солнце. На траве, на холодных телах танков, укрытых в лесу, обсыхала роса. Хорошо было сейчас сидеть в свежерытом окопе. Сверху – солнце, сухой полевой ветерок по брустверу, а от не прогретой в глубине земли прохладно спине сквозь гимнастерку. Гудят вытянутые пудовые ноги, отходя понемногу, а голова легкая, и так сладко сейчас потянуться всем млеющим телом. Война ничего не отменила, только все чувства стали острее на войне. И нет слаще утреннего сна в окопе после такой ночи. Сквозь дрему бухнет орудийный выстрел, а ты сидишь, вытянув ноги, не размыкая век...

Гончаров потянулся, заложа руки за голову, зевнул, глядя на Литвака масляными глазами:

– Ну вот, Борька, мы и встретились.

Борька Литвак, тот самый солдат, которого он ночью забрал из чужой батареи, поднял от котелка лицо, улыбнулся стеснительно и добро. Он был голоден и ел так, словно домой попал. Слив в ложку последние капли из котелка, он облизал ее по-солдатски и сунул за голенище.

– Слушай, а за мной не придут?

– Неохота?

– Суп у вас гороховый здорово варят.

– Тем и славимся.

Они были однолетки и года четыре сидели в школе на одной парте. Но сейчас Гончаров выглядел старше и крупней. С ним произошла та перемена, которая быстро наступает в армии у молодых людей. Он развился физически, расширился в груди, в плечах, а сознание ответственности за многих людей – и равных ему по годам, и годившихся ему в отцы – проложило на лице его ранний отпечаток мужественности и серьезности. Эту перемену, как незримую грань, разделявшую их, Литвак смутно чувствовал. И отчего-то неловко было называть его Юркой.

А Гончаров смотрел на него с суровой ласковостью, как на младшего старший брат.

– Курить научился?

– Есть, товарищ комбат, тот грех, – сказал Литвак, шуткой обходя неловкость.

Он взял у Гончарова кисет: «Ого!» Кисет был резиновый, трофейный, немецкий, и у Литвака даже некоторой завистью и уважением заблестели глаза.

Гончаров расстегнул отложной воротник гимнастерки, подставил ветерку голую грудь. Дым табака щекотал ему ноздри, но не хотелось стряхивать с себя дремоту в эти последние короткие минуты, которые он еще мог позволить себе подремать, пока разведчик устанавливает стереотрубу, а телефонист на солнышке клюет носом над аппаратом. Борьке же оттого, что он встретился со школьным другом, и попал к нему в батарею, и поел хорошо, и теперь закурил, показалось вдруг с легкостью, что война отодвинулась на долгий срок – надо же в конце концов людям поговорить!

– Старшина батареи у вас кадровый? – спросил Гончаров.

– Угу.

– Сверхсрочник?

– Мало сказать...

– Я вижу, – Гончаров улыбался сонной улыбкой. – Это он для тебя специально подобрал персональные сапоги. Из бросовых. Чтоб каждому виден был в них человек умственного труда. Старшины-сверхсрочники вообще любят студентов. Историков обожают особенно.

– Когда-то ты тоже собирался историю изучать. Помнится мне.

– Был такой факт биографии. Да вовремя сообразил: если все историю будем изучать, некому ее защищать окажется. А как выяснилось, это тоже необходимо. Слушай! – спохватился вдруг Гончаров. – Ты как в армии вообще? У тебя же что-то вены на ногах и один глаз ни черта не видит.

Литвак скромно опустил глаза:

– Видишь ли, я убедил военкома, что я – снайпер.

– А на меньшее ты не соглашался?

– Нет, почему... Он поверил. Ты же знаешь мою силу убеждения. Только потом меня почему-то направили в артиллерию.

Гончаров строго смотрел на него смеющимися глазами. И вдруг расхохотался, не выдержав, окончательно стряхнув с себя сон.

Прошное, отдаленное не таким уж долгим сроком, было сейчас рядом с ними. И за дымкой времени чем неясней вспоминалось оно, тем казалось милей.

– Помнишь Петьку Москаленко? – спросил Литвак. – Ведь я тебя к нему ревновал.

– Где он сейчас?

– Не знаю. Знаю только, что поступил на физмат.

Да, Петька Москаленко. Худой, длинный, выше всех в классе, с маленькой головой, узким лбом и синими-синими глазами. Был Петька сыном уборщицы студенческого общежития. Обычно перед праздниками она приходила в школу, робко стояла под дверью учительской, не решаясь войти. И когда ей говорили, что у сына ее незаурядные способности, она пугалась, кланялась и только просила учителей:

– Вы уж как-нибудь с ним поостроже. Отца-то у нас нет, а сама я что могу?

Эти ее посещения школы для Петьки Москаленко были мучением, он покрывался красными пятнами, и лучше в это время было на него не смотреть. А у Гончарова отец был архитектор. На городской площади вокруг памятника Пушкину стояли старинные чугунные фонари, отлитые по его проекту. И было в городе здание авиатехникума, построенное Юркиным отцом. Это здание и эти фонари весь класс бегал смотреть. Они были не то что предметом гордости, но как бы принадлежали классу: их строил Юркин отец. Гончаров приходил в школу отглаженный, в начищенных ботинках, отличный спортсмен, кидал в парту портфель и сидел на уроках со скучающим видом. А Петька Москаленко рядом с ним грыз карандаш и, уставясь в одну точку остро блестящими глазами, решал дифференциальные уравнения. Или по целым урокам напролет они разговаривали. И тогда кто-нибудь из учителей не выдерживал:

– Гончаров, повторите, что я только что рассказывал!

Этой минуты, как представления, ждал весь класс. Гончаров откидывал парту, вставал, покачивая плечами, шел к доске и там, повернувшись лицом к классу, слово в слово повторял то, что говорилось на уроке. А потом, помолчав, глядя в лицо учителя ясными безжалостными глазами, начинал дополнять его рассказ такими подробностями, от которых класс замирал в восторге.

Они с Петькой никогда не учили уроков и всегда все знали. Это было высшим шиком. Им пытались подражать, но это кончалось плачевно. Они были не просто хорошими, они были блестящими учениками, и за это учителя прощали им многое. И все-таки что мог Петька Москаленко, не мог никто. На его худых плечах в маленькой голове с узким лбом свободно помещались и логарифмы, и дифференциальные исчисления, которым никто его не учил, потому что в школе это не проходят, а мать у него была неграмотной женщиной и больше всего на свете почитала и боялась учителей. За три месяца на спор он выучил английский язык и не только читал, но говорил.

Считается, что ревность бывает только в любви. В дружбе тоже кто-то всегда первый, а кто-то страдает и мучится ревностью, быть может, не меньшей даже, чем в любви. Ревностью мучился Борька Литвак. И тем она была безнадежней, что на него вообще не обращали внима-

ния. Гончаров дружил с Петькой Москаленко, и к ним в дружбу никто кроме допущен не был. Кончилась их дружба внезапно. На уроке английского языка. Расшалились ли в тот раз как-то особенно или терпению учительницы настал предел, но она вдруг закричала не своим голосом:

– Москаленко!

Петька в этот момент не разговаривал. Обернувшись назад, он играл на листе бумаги в морской бой. Он с достоинством встал.

– Вам должно быть стыдно! – сказала она ему по-английски. Он был ее лучший ученик, и ей казалось, она могла рассчитывать на его помощь. И вот тут Петька с неожиданной жесткостью, так, чтоб слышал весь класс, сказал ей по-русски:

– Если вы не можете установить дисциплину, так Москаленко тут ни при чем и нечего на него кричать.

Все видели, как у учительницы задрожали щеки, она как будто хотела закричать на него, но вдруг бросила журнал и с заблестевшими в глазах слезами выскочила из класса. Стало тихо. И в тишине Гончаров сказал:

– То, что ты сделал, – подлость.

Он сидел, а Москаленко все еще стоял за партой.

– И ты извинишься перед ней.

Но уже другие законы вступали в силу: на Петьку Москаленко смотрел весь класс и ждал. Он был герой, как он поступит сейчас? И это чувство оказалось сильнее, у него не хватило мужества, которого требовал от него Гончаров по праву их дружбы. Тогда Гончаров при всех ударил его по лицу. Они покатались в проход между партами среди завизжавших девчонок, и тем страшней была эта драка, что никто не мог их разнять. Сильней их в классе был только Шурик Хабаров, дважды остававшийся на второй год. Но он ненавидел их обоих всей силой ненависти, на которую способен бездарный человек. Его тетради, исписанные четким, каллиграфическим почерком, приводили в восторг учительницу черчения и в безнадежное уныние повергали всех остальных учителей. И он стоял, сложа руки, и смотрел, как они дерутся. Кинулся разнимать их Борька Литвак. Так всех троих вместе и повели их к директору. Борька шел как герой. Он готов был, хотел пострадать. Но несмотря на то что у него была разбита губа, директор почему-то сразу решил, что он не виноват. И с этой не принятой во внимание разбитой губой, с великим позором пришлось Борьке одному выйти из кабинета на глазах всего класса, который дружно дежурил под дверью.

– Дураки мы были порядочные, – сказал Гончаров и прикурил от зажигалки. – А в общем – нет. Так и нужно.

Он сидел в окопе, по-хозяйски свободно, спиной к немцам. Сильные плечи опущены, ремни португепи ослабли на них. Из-под низко надвинутого козырька фуражки блестели на огонек папиросы улыбающиеся воспоминанию глаза. И только вздрагивающие ресницы, пушистые, длинные, черные – девчачьи ресницы, – были от прежнего Юрки. Но сейчас они подчеркивали мужскую красоту лица.

А впрочем, того Юрку тоже никто в классе по-настоящему не знал. Он был сын уважаемого человека, архитектора, и то, что он приходил в школу отглаженный, с детства знал английский язык – это все было как бы само собою разумеющимся: он вырос в благополучной семье. Но однажды Литвак пришел звать Гончарова на каток, и дверь ему открыл робкий, нетрезвого вида человек.

– Вы к Юрочке? – говорил он, почему-то заискивая перед Борькой и смущая его этим «вы». – А Юрочки дома нет...

При этом он испуганно оглядывался на вышедшую за ним следом молодую здоровую женщину с грубым лицом, ставшую позади него. Она подозрительно и хмуро смотрела на Литвака и не уходила. И, стесняясь самого себя, стесняясь при школьном товарище сына своего

припудренного носа, он бестолково суетился, шаркал по полу, стараясь держаться на отдалении. Но и на отдалении от него пахло водкой.

Это был отец Гончарова. И когда Юрка узнал, что Литвак был у них и видел отца, он покраснел до слез, и долго еще Борька чувствовал в нем враждебность к себе. Только позже, когда доверие было восстановлено, Гончаров показал ему карточку своей матери: молодая-молодая, загорелая, она босиком стояла на песке, в майке, в сатиновой юбке, держа на плече еще маленького сына. Вся она, освещенная солнцем, была такая счастливая, что у Борьки Литвака, смотревшего на фотокарточку, даже сердце сжало: он знал уже, что ее нет. Она была секретарем заводского комитета, комсомола, но на заводе у них произошел взрыв, и она погибла. С тех пор отец стал потихоньку пить, а домработница – та самая здоровая женщина с грубым лицом – постепенно весь дом и отца забрала в руки. И Юрка, жалея отца, опустившегося, безвольного, запуганного человека, презирая его, не мог ему этого простить.

Из всего класса только Петька Москаленко, а теперь еще Борька Литвак знали, что Гончаров, приходивший в школу в чистых рубашках и сверкавших ботинках, стирал себе, гладил и штопал сам. С тех пор как эта женщина стала в доме тем, кем она стала, Гончаров все для себя делал сам. Он ненавидел ее, презирал отца, но была еще в доме маленькая двухлетняя девочка. Черноглазая, вся в черных кудряшках, белая, румяная, крепкая, как орех. Маленький деспот, которому он позволял делать с собой все, приходя от этого в совершенный восторг. Когда он, гордясь, показывал ее первый раз Литваку, Борька поразился, как все лицо его стало другим. У Литвака тоже была сестра, старшая, правда, с которой он дрался. И был брат. Но, кажется, даже больше них он любил Юрку. И вдруг Гончаров, не сказав ему ни слова, подал документы в военное училище. Борька переживал это молча, как измену.

И вот в суматохе двигавшихся ночью войск они встретились на фронтовой дороге, два школьных товарища, и теперь вместе сидели в окопе. На себе самом никто не замечает прожитых лет. За эти годы Борька Литвак из мальчика, боявшегося драк и физической боли, превратился в мужчину, худого, жилистого, с острым кадыком, за которым рокотал неожиданный бас. И он сказал этим басом:

– А знаешь, скажи ты мне тогда хоть слово, я бы все бросил и пошел с тобой в училище.

Улыбаясь из-под козырька фуражки, Гончаров смотрел на него. Они действительно в те годы вместе собирались поступать на истфак. Если вспомнить, большинство в их классе хотело изучать не математику, не физику, а историю. В них жило ощущение значительности происходящих событий. Через Спартака и все восстания рабов, через баррикады Парижской коммуны, соединенные единым током крови, они чувствовали себя наследниками всей истории человечества, которую их народ с новой страницы начал в семнадцатом году. Они верили, что в грядущих классовых боях каждому из них многое предстоит совершить, многое под силу, и в то же время готовы были по приказу идти рядовыми. Гончаров не помнил сейчас точно, как это произошло и с чем было связано, просто он понял однажды, что классовые битвы, к которым все они готовились, ждут их не когда-то, а уже начались, раз в Германии у власти стоит фашизм. Он понял, что изучать историю время еще будет, но защищать ее время пришло. И он пошел туда, где, по его мнению, пролегал в тот момент передний край. Один из всего класса, в то время, как остальные еще сидели за партами. И вот они встретились снова уже на войне, но в разном качестве. Борька примчался на войну, вооруженный одним патриотизмом, собираясь воевать не умением, а в общем числе. Убедил военкома, что он снайпер. Все это похоже на него, но кажется, он еще не представляет себе точно, с какого конца и как заряжается винтовка образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года. И все же он рад, что они встретились и сидят сейчас в одном окопе.

– Слушай, Борька, – сказал Гончаров. – Ты Иринку Жданову помнишь? Ты в нее ведь влюблен был когда-то. Абсолютно безнадежно, все это знали.

– Самое смешное, что я в нее и сейчас влюблен. И ты уж совсем не поверишь, но у нас – дочка. Маленькая такая дочка, вот такая, и тоже Иринка. Пожалуйста, не раскрывай на меня глаза, потому что я сам иногда тоже начинаю сомневаться. Но в то же время дочка – это непреложный факт. Когда ее держишь на руках – просто нельзя не верить.

– Вот что бывает, когда настоящие мужчины уходят в армию и оставляют в тылу хороших девчат! – сказал Гончаров почти торжественно, глядя на Литвака так, словно тот неожиданно вырос в его глазах. И тут разведчик позвал от стереотрубы:

– Товарищ комбат!

– Что стряслось? – спросил Гончаров, все еще глядя на товарища.

– Вот поглядите. Представление, честное слово...

Разведчик улыбался, но не по-хорошему, обиженно морщил обветренные, шелушащиеся губы. Пожалев недокуренную папироску, Гончаров раз за разом затянулся, сильно щурясь, притопал окурок и поднялся к стереотрубе, зачем-то застегивая на крючки воротник гимнастерки у горла.

Наблюдательный пункт был вырыт на переднем скате высоты, обращенном к немцам, в густой траве и замаскирован травой. Она уже начинала вянуть под солнцем, и запах свежего сена почувствовал Гончаров, прилаживая по глазам стереотрубу, к которой для маскировки тоже были привязаны пучки травы.

Внизу было пшеничное поле, уже побелевшее, шелковистое под ветром; стелющиеся волны, как тени, пробегали по нему. И всюду в пшенице минометы, легкие пушки – окопы, окопчики, ямки. Множество людей, зарывшихся в землю по грудь, перебегающих от ямки к ямке, скрыто было в хлебах; отсюда, с высоты, Гончаров видел их спины. А дальше, где поле кончалось, – другие окопы: передний край. Там сидела пехота. Впереди нее уже не было никого, только пустое пространство, кусты и в этих кустах – немцы. И странно, непривычно еще было чувствовать и сознавать, что все то зеленое за гранью кустов – осока, озерами блестящая в осоке река, дальний отлогий луговой берег и деревенька на нем, – все это было у немцев. Поле созревшего хлеба у нас, а деревня у них.

Но еще прежде чем Гончаров все это целиком охватил взглядом, он увидел то, что хотел показать ему разведчик, перекрестием наведя стереотрубу и уступив около нее место. В перекрестии сквозь тонкие черные деления, нанесенные для стрельбы, Гончаров увидел блестящую в осоке воду и в этой воде головы купающихся немцев. И еще немцы в трусах и сапогах бежали от деревни к реке. Один размахивал на бегу полотенцем, другой у самой воды прыгал на одной ноге, согнувшись, стаскивая с себя штаны. В стеклах стереотрубы Гончаров крупно, близко видел зеленый луг и бегущих по нему немцев, их белые на солнце тела. И в воде тоже блестели, плескались и выпрыгивали мокрые белые тела.

Это были немцы, но Гончаров с острым любопытством смотрел на них, не находя в душе у себя враждебного чувства. Светило утреннее солнце, и там, в низине, у реки, трава, наверное, была еще влажной. И они бежали по этой траве, веселые и голые, как мальчишки. Словно не было войны, а было только раннее деревенское утро, и они бежали под уклон к реке искупаться до завтрака.

Когда он обернулся от стереотрубы, то самое, что было в душе у него, увидел он на лице разведчика. Разведчик стеснительно улыбнулся, словно в мыслях был в чем-то виноват. Гончаров похолодел лицом.

– А ну, передай на батарею, – приказал он телефонисту и увидел, как Борька Литвак быстро обернулся, что-то хотел сказать. Но уже прошелестел над ними первый снаряд и разорвался в реке, столбом вскинув воду. На миг головы скрылись в осоке, а потом еще веселей пошла возня в реке. Друг перед другом немцы играли с опасностью, как бы не понимая, что та веселая игра, в которую они играют сейчас под снарядами, не всегда кончается весело. Один снаряд разорвался близко на берегу. И тогда немцы стали выскакивать из воды. Хватая одежду,

мокрой гурьбой бежали они по лугу вверх. И если бы добежали до деревни, искупавшиеся, запыхавшиеся, проголодавшиеся от острого ощущения опасности, они бы с яростным аппетитом набросились на еду и смеялись бы, рассказывая друг другу, как купались в реке и русские стреляли по ним, – веселое военное приключение, «мейне криегсериннерунген».

– Бат-тарее три снаряда беглый огонь! – крикнул Гончаров, уже зажегшись азартом. И приник к стереотрубе, слыша над собой шелестящий полет снарядов.

Зеленый луг, по которому вверх бежали немцы, взлетел перед ними. И сзади, и с боков, и все смешалось в дыму и грохоте, и здесь, на НП, задрожало, затряслось, и земля посыпалась с бруствера.

Когда разрывы смолкли и низовой ветер от реки, смешав дым, поволок его вверх к деревне, луг постепенно расчистился. Среди неглубоких пятен воронок на нем вразброс лежали двое немцев, белые в зеленой траве. Один был совершенно голый и в сапогах.

Гончаров оторвался от стереотрубы. Рядом с ним с опущенным биноклем в руках стоял Литвак.

– Вот так их учить! – сказал Гончаров, и голос у него был хриплый. – А ты как думал?

Но Литвак опустил перед ним глаза. И оба почувствовали отчуждение, возникшее между ними, как будто голые, купающиеся немцы, по которым стрелял Гончаров, не были в этот момент солдатами.

До самого вечера, выслеживая в стереотрубу артиллерийские цели, Гончаров не раз еще мыслью и взглядом возвращался к тем двум немцам, лежащим на лугу, на похолодевшей к закату траве.

ГЛАВА V

Солнце садилось за деревней, за лесом, и к нему, как дым в раскрытую топку, со всего неба тянулись серые, встречно освещенные облака. Они шли над полем, волоча тени по хлебам, по окопам, гася блеск орудийных стволов и касок, шли через нашу передовую, через немецкую, за реку, в тыл, прощально глядя землю и людей, зарывшихся в ней.

Уже не часы, минуты остались до свистка, и в эти минуты из всей непрожитой жизни можно было только успеть докурить последнюю сигарку. И пехотинцы тысячами губ, торопясь, досасывали ее, тысячами глаз попеременно выглядывали из-за бруствера – туда, куда одним облакам можно плыть беспрепятственно.

А за рекою, в деревне, немцы ходили, как у себя дома, стояли во дворах, и над домами, из труб летних кухонек и походных солдатских кухонь уже подымался предвечерний дымок.

Три «мессершмитта», развернувшись над полем по дуге, ушли, со звоном моторов вонзаясь в закат. За каждым остался таять в воздухе розовый след.

И наступил тот миг, когда вдруг сразу, словно с последним вдохом, вошло все в грудь: и вечер, светящийся на закате, и воздух над полями, и земля, с которой надо было сейчас подняться в атаку. Но, обрывая мгновение, взвилась вверх ракета. И сейчас же на бруствер траншеи вспрыгнул лейтенант – маленьким и четким против солнца виден был он издали, с наблюдательного пункта, откуда смотрел Тройников. С поднятой вверх рукой, обернувшись назад, он что-то прокричал беззвучно. И по всей линии стали выпрыгивать из земли бойцы, и он исчез среди них.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.